

Библиотека Классической Литературы

Оглавление

К ЧИТАТЕЛЮ

9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

11

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

170

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

393

И. ГУРОВА
КОММЕНТАРИИ

618

Когда-то земля, вероятно, была раскаленным шаром, таким же, как солнце.

Тарр и Макмерри

А.Б.

*Поелику Тобой я суц в раю
(Всегда, везде из чувств моих любое
И живо, и ведомо лишь тобою),
Но раму брeнную души мою
Оставил здесь, то мышцы, жилы, кровь
Одеть вернутся кости плотью вновь.*

К читателю

Это — первая книга, и автор писал в ней о том, что теперь ушло и утрачено, но когда-то составляло самую ткань его жизни. А потому, если кто-нибудь из читателей назовет эту книгу автобиографической, писателю нечего будет возразить — ведь, по его мнению, все сколько-нибудь серьезные литературные произведения всегда автобиографичны, и трудно вообразить более автобиографичную книгу, чем «Путешествия Гулливера».

Однако это небольшое предисловие обращено главным образом к тем, с кем автор, возможно, был знаком в период, которому посвящены эти страницы. И этим людям он хотел бы сказать то, что они, как ему кажется, уже знают — что книга эта была написана в наготе и невинности духа и что автор думал только о том, как придать достоверность, жизнь и полнокровие действию и персонажам книги, которую он создавал. Теперь, перед ее опубликованием, он решительно утверждает, что книга эта — вымысел и что он не давал в ней портретов живых людей.

Но мы — сумма всех мгновений нашей жизни: все, что есть мы, заключено в них, и ни избежать, ни скрыть этого мы не можем. Если для создания своей книги писатель употребил глину жизни, он только воспользовался тем, чем должны пользоваться все люди, без чего не может обойтись никто. Художественный вымысел — это не факт, но художественный вымысел — это факты, отобранные и поняты во всей их полноте, художественный вымысел — это факты, переработанные и заряженные целью. Доктор Джонсон сказал, что человеку приходится перелистать по-

ловину библиотеки, чтобы создать одну книгу, и точно так же романист может перелистать половину жителей города, чтобы создать один персонаж в своем романе. Этим не исчерпывается весь метод, но автор полагает, что и этого достаточно, чтобы дать иллюстрацию ко всему методу создания книги, которая написана со среднего расстояния, без злобы и без обидных намерений.

Часть первая

...камень, лист, найденная дверь; о камне, о листе, о двери. И о всех забытых лицах.

Нагие и одинокие приходим мы в изгнание. В темной утробе нашей матери мы не знаем ее лица; из тюрьмы ее плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира.

Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остается навеки чужим и одиноким?

О тщета утраты в пылающих лабиринтах, затерянный среди горящих звезд на этом истомленном негорящем уголке, затерянный! Немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утраченную тропу на небеса, камень, лист, найденную дверь. Где? Когда?

О утраченный и ветром оплаканный призрак, вернись, вернись!

I

Судьба, которая ведет англичанина к немцам, уже необычна, но судьба, которая ведет из Эпсомы в Пенсильванию, а оттуда в горы, укрывающие Алтамонт, ведет через гордый коралловый крик петуха и кроткую каменную улыбку ангела — эта судьба овевана темным чудом случайности, творящей новое волшебство в пыльном мире.

Каждый из нас — итог бесчисленных сложений, которых он не считал: доведите нас вычитанием до наготы и ночи, и вы увидите, как четыре тысячи лет назад на Крите началась любовь, которая кончилась вчера в Техасе.

Семя нашей гибели даст цветы в пустыне, алексин нашего исцеления растет у горной вершины, и над наши-

ми жизнями тяготеет грязнуха из Джорджии, потому что лондонский карманник избежал виселицы. Каждое мгновение — это плод сорока тысячелетий. Мимолетные дни, жужжа, как мухи, устремляются в небытие, и каждый миг — окно, распахнутое во все времена.

Вот — один такой миг.

Англичанин по имени Гилберт Гонт, или Гант, как он стал называться впоследствии (возможно, это была уступка произношению янки), приплыв в 1837 году на парусном судне в Балтимор из Бристоля, вскоре опрокинул все прибыли купленного им там трактира в свою беззаботную глотку. Он отправился на запад, в сторону Пенсильвании, добывая рискованное пропитание с помощью боевых петухов, которых выставлял против местных чемпионов, и нередко еле уносил ноги после ночи, проведенной в деревенской кутузке, — его боец валялся мертвым на поле боя, в его карманах не позвякивало ни единого медяка, а на его беспечной физиономии подчас багровел след дюжего кулака какого-нибудь фермера. Но ему всегда удавалось улизнуть, и когда он в дни жатвы добрался до немцев, его так восхитило богатство их края, что он бросил там якорь. Не прошло и года, как он женился на крепкой румяной вдовушке, хозяйке недурной фермы; она, как и остальные немцы, была покорена его видом бывшего путешественника и витиеватой речью — особенно когда он читал монологи Гамлета в манере великого Эдмунда Кина. Все говорили, что ему следовало бы пойти в актеры.

Англичанин стал отцом дочери и четырех сыновей, жил весело и беззаботно и терпеливо сносил бремя суровых, но справедливых попреков своей супруги. Шли годы, его ясные, пристальные глаза потускнели, под ними вздулись мешки; теперь высокий англичанин подгагрически волочил ноги, и как-то утром, когда жена явилась выбрать его за то, что он, по обыкновению, заспался, она обнаружила, что он умер от апоплексического удара. После него осталось пять детей, закладная на ферму и — в его странных темных глазах, снова ясных и пристально смотрящих вдаль, — что-то, что не умерло: неутолимая и смутная жажда путешествий.

Тут мы оставим этого англичанина с его наследством и теперь будем заниматься тем, кому он его завещал, — его вторым сыном, мальчиком по имени Оливер. Было

бы слишком долго рассказывать, как этот мальчик стоял у дороги вблизи материнской фермы и провожал взглядом пыльные полки мятежников, уходившие к Геттисбергу, как потемнели его холодные глаза, когда он услышал гордое слово «Виргиния», как в год окончания войны, когда ему еще было пятнадцать лет, он шел по улице в Балтиморе и увидел в маленькой лавке гладкие гранитные плиты смерти, вырезанных из камня агнцев и херувимов и ангела, застывшего на холодных немощных ногах с улыбкой кроткого каменного идиотизма. Но я знаю, что его холодные, неглубокие глаза темнели от той же смутной и неутолимой жажды, которая жила в глазах мертвеца и когда-то вела его с Фенчерч-стрит мимо Филадельфии. Мальчик глядел на большого ангела, сжимающего резной стебель лилии, и им овладевало холодное безымянное волнение. Длинные пальцы его больших рук сжались в кулаки. Он почувствовал, что больше всего на свете хочет валять. Он хотел вогнать в холодный камень то темное и неназываемое, что жило в нем. Он хотел изваять голову ангела.

Оливер вошел в лавку и спросил у широкоплечего бородача с деревянным молотком в руке, нет ли для него тут работы. Он стал подмастерьем резчика по камню. Он проработал в этом пыльном дворе пять лет. Он стал резчиком по камню. Когда годы его ученичества кончились, он был уже мужчиной.

Он так и не обрел того, чего искал. Он так и не изваял голову ангела. Голубку, агнца, сложенные в покое смерти мраморные руки, и буквы, тонкие и изящные, — все это он умел. Но не ангела. И все годы тщеты и утрат — буйные годы в Балтиморе, годы труда, яростного пьянства и театра Бута и Сальвини, губительно влиявшего на резчика по камню, который запоминал все переливы благородной декламации и шагал по улицам, бормоча и быстро жестикулируя огромными красноречивыми руками, — все это слепые блуждания на ощупь в нашем изгнании, закрашивание нашей жажды, когда, немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утерянную тропу на небеса, камень, лист, дверь. Где? Когда?

Он так и не обрел того, чего искал, и, шатаясь, пошел через континент на Реконструируемый Юг — странная дикая фигура в шесть футов четыре дюйма ростом, холодные, тревожные глаза, широкая лопасть носа, раскаты пышной

риторики и нелепое, комическое проклятие, формально-условное, точно классические эпитеты, которые он пускал в ход совершенно серьезно, хотя в уголках его узкого стоющего рта пряталась неловкая усмешка.

Он открыл мастерскую в Сиднее, маленькой столице одного из штатов среднего Юга, вел трудовую и трезвую жизнь под взыскательными взглядами людей, еще не оправившихся от поражения и ненависти, и, наконец, завоевав себе доброе имя и добившись, что его признали своим, женился на тощей чахоточной старой деве, которая была старше его на десять лет, но сохранила кое-какое состояние и неукротимое желание выйти замуж. Через полтора года он вновь превратился в буйного сумасшедшего, его маленькое дело лопнуло, а Синтия, его жена, продлению жизни которой, как утверждали соседи, он отнюдь не способствовал, как-то ночью внезапно умерла после сильного легочного кровотечения.

Так все снова исчезло — Синтия, мастерская, купленное дорогой ценой трезвости уважение, голова ангела; он бродил по улицам в темноте, выкрикивая пентаметры своего проклятия, обличая обычаи мятежников и их праздную лень; однако, томимый страхом, горем утраты и раскаянием, он съезжился под негодующим взглядом городка; и, по мере того как его огромное тело все больше худело, он проникался убеждением, что болезнь, убившая Синтию, теперь вершит месть над ним.

Ему было немногим больше тридцати, но выглядел он гораздо старше. Лицо его было желтым, щеки запали; восковая лопасть носа походила на клюв. Длинные каштановые усы свисали прямо и печально.

Чудовищные запои разрушили его здоровье. Он был худ, как жердь, и постоянно кашлял. Теперь в одиночестве враждебного городка он думал о Синтии, и в нем рос страх. Он думал, что у него туберкулез и он скоро умрет.

Вот так, совсем один, опять все потеряв, не утвердившись в мире, не обретя в нем места, утратив почву под ногами, Оливер возобновил свои бесцельные скитания по континенту. Он повернул на запад, к величественной крепости гор, зная, что по ту их сторону его дурная слава никому не известна, и надеясь найти там уединение, новую жизнь и прежнее здоровье.

Глаза тощего призрака снова потемнели, как когда-то в дни его юности.

Весь день Оливер под серым мокрым октябрьским небом ехал на запад через огромный штат. Он уныло глядел в окно на бесконечные просторы дикой земли, лишь кое-где испещренной заплатками крохотных полей крохотных жалких ферм, и его сердце наливалось холодным свинцом. Он вспоминал огромные пенсильванские амбары, клонящееся золото налитых колосьев, изобилие, порядок, чистенькую бережливость тамошних людей. И он вспоминал, как сам отправился в путь, чтобы найти порядок и прочное положение для себя, — и думал о буйной путанице своей жизни, о неясном смешении прожитых лет и о багряной пустыне своей юности.

«Черт поberi! — думал он. — Я старею. Почему здесь?»

В его мозгу развертывался угрюмый парад призрачных лет. Внезапно он понял, что его жизнь определил ряд случайностей: сумасшедший мятежник, распевавший об Армагеддоне, звук трубы на дороге, топот армейских мулов, глупое белое лицо ангела в пыльной лавке, зазывное покачивание бедер проходившей мимо проститутки. Он, шатаясь, ушел от тепла и обилия в этот бесплодный край, и пока он смотрел в окно и видел необработанную целину, крутой суровый подъем Пидмонта, размокшую глину рыжих дорог и неопрятных людей на станциях, глазающих на поезд, — худого фермера, покачивающегося над поводьями, зеваку негра, щербатого парня, хмурую болезненную женщину с чумазым младенцем, — загадочность судьбы поразила его ужасом. Как попал он сюда, как сменил чистенькую немецкую бережливость своей юности на эту огромную, пропащую, рахитичную землю?

Поезд, громыхая, катил над дымящейся землей. Не переставая шел дождь. В грязный плюшевый вагон вошел со сквозняком кондуктор и высыпал совок угля в большую печку в дальнем углу. Визгливый, бессмысленный смех сотрясал компанию парней, растянувшихся на двух обращенных друг к другу диванчиках. Над клацающими колесами печально позванивал колокол. Потом было долгое жужжащее ожидание на узловой станции вблизи предгорий. Затем поезд снова покатил через огромные волнистые просторы.

Наступили сумерки. Туманно возникла тяжелая громада гор. В хижинах по склонам загорались тусклые огоньки. Поезд, подрагивая, проползал по высоким виадукам, переброшенным через серебристые тросы воды. Далеко вверх, далеко вниз по обрывам, откосам и склонам лепились